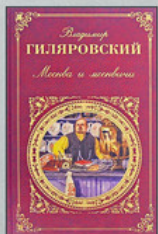


Владимир Гиляровский

Поэт Блок



Часть сборника
Москва и москвичи (сборник)



Владимир Алексеевич Гиляровский

Поэт Блок

Серия «Люди театра»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172977

Москва и москвичи: Эксмо; М.; 2008

ISBN 978-5-699-11515-0

Аннотация

«В декабре 1917 года я написал поэму „Петербург“, прочитал ее своим друзьям и запер в стол: это было не время для стихов. Через год купил у оборванного, мчавшегося по улице мальчугана-газетчика „Знамя труда“, большую газету на толстой желтой бумаге. Дома за чаем развертываю, читаю: „Двенадцать“. Подпись: „Александр Блок. Январь“...»

Владимир Гиляровский

Поэт Блок

В декабре 1917 года я написал поэму «Петербург», прочитал ее своим друзьям и запер в стол: это было не время для стихов. Через год купил у оборванного, мчавшегося по улице мальчугана-газетчика «Знамя труда», большую газету на толстой желтой бумаге. Дома за чаем развертываю, читаю: «Двенадцать». Подпись: «Александр Блок. Январь».

А. А. Блока до этого я видел только раз в «Славянском базаре», в компании с молодыми людьми. Они проходили мимо нас к выходу, и среди них я невольно залюбовался Блоком. Сюртук ловко сидел на его фигуре, и его свежее лицо показалось мне знакомым: где это я его видел? Лицо, глаза и рамка курчавых волос, будто с портрета Байрона, пластические движения стройного тела – все вместе напоминало мне кого-то близкого.

Проходя мимо нас, он бросил взгляд на наш стол, но мысли его были где-то далеко, он нас не заметил, и эти глаза цвета серого моря подтвердили, что они мне знакомы. Да где же, где я его видел? Так и не припомнил!

Прочитав газету, я ее передал моей молодежи, поклонникам Блока. Когда они начали читать вслух стихи, я был поражен, а когда прослушал все – я полюбил его. И захотелось мне познакомиться с Блоком.



Выйдя из Дома Герцена, весь полный впечатлений, я присел на холодную мраморную ступеньку пьедестала пушкинского памятника, присел и задумался.

Это было ночью девятого мая 1921 года. В серьезные минуты жизни всегда приходят на память какие-нибудь мелочи из прошлого. В пластунских секретах, под самой неприятельской цепью, когда я собирался снять противника, мне вспоминались солдаты-статисты, которые в «Хижине дяди Тома» сняли парики из вязанки, думая, что шапки. В Сербии, когда мы от неминуемой казни, вместе с одним товарищем, в грозовую ночь, по крутым улицам Белграда, обращенным ливнем в горные потоки, пробирались к Дунаю, чтобы переплыть из Сербии в Венгрию, я радовался тому, что успел захватить табакерку, и угощал его табаком, а он отмахивался:

– До табакерки ли теперь!

А она мне всего дороже была в тот миг. И сейчас, сидя под памятником, вспоминалась зимняя лунная ночь в 1882 году в Москве.

Возвращался я с дружеской пирушки домой и вижу возню у памятника. Городовой и ночной сторож бьют плохо одетого человека, но никак с ним сладить не могут, а тот не может вырваться. Я соскочил с извозчика, подлетел, городского по

шее, сторожа тоже. Избиваемый вырвался и убежал. Сторож вскочил – и на меня, я его ткнул головой в сугроб. Городовой, вставая, схватился за свисток – я сорвал его у него с шеи, сунул в свой карман, а его, взяв за грудь шинели, потрянул:

– За что вы били человека? – а сам тряс.

Голова его то на грудь, то к спине. Сторож вылезает из сугроба. Все это дело одной минуты. Обоиими руками городской ухватился за мою руку, но тщетно.

– За что? – спрашиваю. – Я сейчас поеду к Александру Александровичу, он мой дядя... Вон у него огонь в кабинете. Я сейчас от него.

Слова эти произвели эффект невероятный. Племянник Козлова, обер-полицмейстера!

– Вашекобродие, простите! Свисточек-то пожалуйста мне, – умоляет вытянувшийся городской.

Сторож подходит, слышит мирный разговор, видит, как я возвращаю свисток.

– Ты знаешь, кто они? Так что вот вроде Пушкина, – и показал рукой на памятник.

– Ты разве знаешь, что я поэт? – обрадовался я своей неожиданной популярности: я только что начал печататься.

– Как же-с! Прямо-таки Пушкин!.. Рука-то чугунная!

Я тогда жестоко был обижен в своей поэтической гордости.

Это воспоминание опять меня вернуло в Дом Герцена, к только что пережитым минутам.

В те огненные времена было не до поэзии, а я все-таки думал напечатать «Петербург», предварительно прочитав его Блоку. Это был законный предлог повидаться с ним, это было моей неотвязной мечтой. Только в 1921 году я познакомился с ним, но весьма мимолетно.

Девятого мая 1921 года возвращаюсь откуда-то поздно вечером домой. Тверским бульваром. Большие окна Дома Герцена по обыкновению ярко освещены. Я отворил дверь в зал Союза писателей в то время, когда там гремели аплодисменты.

– Кому это? – спрашиваю.

– Блок читает!

– А!..

Блоку безумно аплодировали. Он стоял в глубине эстрады. Я ринулся в гущу толпы, желая во что бы то ни стало пробиться к нему, послушать его и познакомиться. Лучшего случая не найдешь! Решил – значит, пройду, пусть меня бьют, а я пройду.

Мой желтый кожаный пиджак, выдавший виды, остался без пуговиц; но будь пиджак матерчатый, я бы на эстраду попал полуголый.

Я подходил к эстраде, когда Блок читал. Публика, храня тишину, слушала; я безмолвно вдавливался между стоящих, неотразимо лез вперед, без звука. Меня пихали ногами, тыкали иногда мстительно в бока и спину, отжимали всем корпусом назад, а я лез, обливаясь потом, и, наконец, был у эстрады.

Блок стоял слева у окна, в темной глубине, около столика: за публикой, стоявшей и сидевшей на эстраде, я не мог его видеть.

Я остановился с правой стороны у самой стенки, плотно прижатый.

Втискиваю голову в чьи-то ноги на эстраде, поднимаюсь, упершись на руках, вползаю между стоящих, потратив на этот гимнастический прием всю силу, задыхаюсь, прижимаюсь к стене. За толпой его не видно. Натыкаюсь у стены на обрубок, никем, должно быть, не замеченный. Еще усилие — и я стою на нем, выше всех на голову.

Офелия моя! —

услыхал я слова.

В черном сюртуке, единственном во всем зале, опершись на спинку кресла красного дерева кистями обеих рук, белых-белых, стоит передо мной Вольский.

Он читает, чуть шевеля губами; но каждое слово, переходившее иногда в полушепот, ярко слышно.

Ни одного жеста, ни одного движения. А недвижные глаза, то черные от расширенных зрачков, то цвета серого моря, смотрят прямо в мои глаза. Я это вижу, но не чувствую его взгляда. Да ему и не надо никого видеть. Блок читал не для слушателей: он, глядя на них, их не видел.

Блок не читает: он задает себе вопросы и сам себе отвечает на них.

Я смущен. Ведь это же Федор Каллистратович Вольский. Это он читает из «Гамлета»... И те же руки белые на спинке красного кресла, и черный сюртук... те же волосы... взгляд... как тогда.

Но где же губернаторский зал? Мундиры, шелка, бриллианты? А глаза чтеца ищут ответа невозможного. Едва движущиеся губы упорно и трогательно спрашивают:

Зачем, дитя, ты? – мысли повторяли...
Зачем, дитя? – мне вторил соловей,
Когда в безмолвной, мрачной, темной зале
Предстала тень Офелии моей...
И, бедный Гамлет, я был очарован,
Я ждал желанный, сладостный ответ.

– Нет, это не Вольский... Это сам Гамлет... живой Гамлет... Это он спрашивает: быть или не быть?

Я только рыцарь и поэт,
Потомок северного скальда...

Тогда в его глазах на один миг сверкают черные алмазы. И опять туман серого моря, и опять то же искание ответа. Это Гамлет, преображенный в поэта, или поэт, преображенный в Гамлета. Вот на миг он что-то видит не видящим нас взором и говорит о том, что видит. Да, он видит... видит... Он видит, что

Офелия в цветах, в причудливом уборе
Из майских роз и влажных нимф речных
На золотых кудрях, с безумием во взоре,
Внимала звукам темных дум своих.
Ее дыханьем насмерть пораженный,
Припал к устам, как раненый олень,
Прекрасный принц Гамлет, любовью опьяненный,
Когда пред ним отца явилась тень...
Он вскрикнул и воскрес...

И Вольский... и Гамлет... и поэт Блок – все перемешалось в моем представлении... Потом исчез Вольский... Потом Блок и Гамлет слились воедино...

Цикл Офелии кончился – аплодисменты гудели, а он читал, читал, читал, читал... Русь... Степи...

Бледный... измученный... Он уже при самом начале аплодисментов поднимал свою красивую белую руку:

– Молчите, я еще не все сказал, я еще не договорил...

И начинал читать. И читал. Одно после другого, разное,

без заглавий, совершенно противоположное. Чувствовал ли он, что в последний раз говорит перед Москвой?...

Иногда аплодисменты заставляли его просыпаться от этой лирической летаргии, и маска лица то освещалась черными алмазами зрачков, то опять потухала.

Он читал из отдельных стихотворений, импровизировал отдельные строки, будто отвечал на какую-то общую связь дум своих, в искании ответа невозможного, глядя в грядущее... Забывался на эти минуты Гамлет...

И вдруг:

Тебя, Офелию мою,
Увел далеко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю,
Клинком отравленным заколот.

Блок слился опять с Гамлетом. Для меня навсегда.

Зал гремел и стал еще теснее. Публику с эстрады попросили сойти, дать воздуху.

Утомленный, бледный, опустился поэт на жесткое кресло, но вскоре оживился. Я успел пробиться и встать за его креслом. Нас около Блока было немного. Глаза у Блока еще усталые, но уже совсем другие, не такие, как за минуту назад, во время чтения, смотрели внимательно.

Вот в это-то время и познакомил нас, по моей просьбе, П. С. Коган. Рука Блока была горячая, влажная. Он крепко пожал мою.

– Я вас сразу узнал по портрету в журнале «Геркулес». В то время я увлекался гимнастикой, хотел быть сильным. – Глаза его оживились. Он говорил со мной дружески, будто со старым знакомым. – Мне тогда о вас Брюсов говорил... Он рассказывал, что вы очень сильный, что вы по Москве ходите с железной палкой почти в полпуда весом, говорил, что Пушкин также с такой палкой ходил в Михайловском и, развивая силу, жонглировал ею.

Я успел с восторгом упомянуть о его «Двенадцати», рассказать о своем «Петербурге» и о желании прочитать ему поэму.

– Осенью я обязательно буду в Москве, и мы с Петром Семеновичем (Коганом) – я остановлюсь у него – с вами поведемся и почитаем, – ответил он, помолчав.

Я подал ему свою книжку, карандаш, и он мне широким, ясным почерком написал:

Как часто плачем вы и я
Над жалкой жизнью своею.

Александр Блок, 1921 г.

Этой гамлетовской фигурой как бы заканчивается для меня галерея промелькнувших более чем за полвека людей театра. От безвестных перелетных птиц, от случайных обликов до таких вершин, как В. Н. Андреев-Бурлак, А. И. Южин, К. С. Станиславский и М. Н. Ермолова.